

РОБЕРТ БАЛАКШИН

И В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ...

ПОВЕСТЬ

Глава первая

ПРИБЫТИЕ В ГОРОД И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

Вечерний мартовский морозец покрыл лужицы стекольно-хрупким белым ледком, и на темной окраине неба зажглась первая яркая, лучистая звезда. И вдалеке, куда к темнеющему ночному горизонту уходили рельсовые пути, тоже появилась крошечная звездочка. Она приближалась, вырастая в слепящий прожекторный глаз бронепоезда. Лишь только его коробчатая бронированная громада замерла у здания вокзала, в боку передней бронеплощадки отворилась стальная дверка и на перрон один за другим стали выпрыгивать красноармейцы. Вzbивая коленями длинные полы шинелей, они бежали и становились частой цепочкой у пассажирского вагона первого класса, находившегося в середине состава.

Никанор Петрович, начальник станции, дрожа от озноба, направился к вагону. Окна вагона с их лимонно-желтыми сборчатыми занавесками светились тихим, домашним светом. Но свет этот не успокаивал душу.

— Кто такой? Чего тут делаешь? — подскочил к Никанору Петровичу мужчина в бекеше, напирал на него, оттесняя к середине перрона.

БАЛАКШИН Роберт Александрович родился в 1944 году в деревне Коротыгино Грязовецкого района Вологодской области. Окончил Вологодский строительный техникум. Служил в армии. Работал в управлении культуры облисполкома, бетонщиком, землекопом, каменщиком, дворником. Автор четырех книг прозы, книги переводов и сборника стихов. Член Союза писателей России с 1985 года.

Живет в Вологде.

— Н-начальник станции я, — отступая под натиском, волнуясь, ответил Никанор Петрович.

— Вызывали тебя?

— Нет, т-товарищ.

— Ну и пошел, не трись тут.

Никанор Петрович побрел к вокзалу, мелко крестя грудь между второй и третьей пуговицей форменной шинели, а за спиной его в первом классе вагона хлопнула дверь, и зычный голос гаркнул вдоль перрона:

— Комендант! Началюгу станционного сюда!

Никанор Петрович, скоро повернувшись, побежал к вагону.

— Я начальник, я.

— Заходи, — махнул рукой стоявший в тамбуре улыбчивый, широкогрудый, в новенькой офицерской гимнастерке верзила.

Никанор Петрович поднялся в тамбур.

— Ручки! — весело скомандовал верзила, сноровисто охлопал поднявшего руки Никанора Петровича, расстегнул шинель, проверил карманы, подмышки, обшарил его со спины, показал большим пальцем на дверь: — Сюда.

Начальник станции поддернул брюки, оправил китель, застегнул шинель и, пока шел коридорчиком, в голове, в холодеющем сердце билось: “Господи, помилуй! Господи, пронеси!”

— Да, да, — глухо послышалось из-за обитой кожей двери.

В комнате у окна, за небольшим письменным столом сидел пожилой, сухоощавый, примерно одних лет с Никанором Петровичем мужчина с седеющей, расчесанной на пробор головой, с рыжеватой щеточкой усов, с умным и строгим, но несколько не страшным лицом. На стене над его головой портрет вождя. Всего же сильней начальника станции поразило и как-то смягчило одолевавший его страх то, что мужчина был одет в белую, вышитую голубенькими цветочками по вороту и рукавам рубашу. Неужели это и есть грозный уполномоченный, слух о жестокой требовательности которого обгонял его бронепоезд? Разве не он на соседней с N станции приказал расстрелять бригадира ремонтной бригады, на несколько минут задержавшего отправление бронепоезда?

— Начальник станции? — с легкой барственной хрипкой в голосе сказал мужчина. — Быстро нашлись. Похвально. Садитесь, милости прошу.

Никанор Петрович примостился на краешке стула.

— С кем имею честь?

Начальник станции назвал себя.

— А моя фамилия — Гедров, товарищ Гедров, — представился мужчина, строго козырял собеседника взглядом светло-карих глаз. — Итак, уважаемый Никанор Петрович, отныне мы с вами будем сотрудничать. Мои условия сотрудничества: дважды распоряжений не отдаю, оговорок не принимаю, любой мой приказ должен быть исполнен точно и в срок. Если принимаете эти условия, неприятностей у вас не будет. В противном случае — не вышлите. Время военное, суровое. Так что — принимаете?

— Принимаю, — отяжелевшим, глиняным языком пробормотал Никанор Петрович.

— На это я и рассчитывал. — Гедров помешал ложечкой в стакане, перехватил взгляд Никанора Петровича, сказал негромко: — Еще чай.

В стене за его спиной распахнулась дверь, и молодой человек в военной форме, почти мальчик, поставил с подноса на свободный угол стола стакан чая, хрустальную сахарницу и тарелку с бутербродами.

Никанор Петрович сглотнул голодную слюнку, приободрившись, подвинулся до половины сиденья стула.

— Смотрите внимательно. — Гедров взял серебряный подстаканник, отпил глоток и на плане станционных путей, лежавшем перед ним, обвел карандашом глухую отдаленную ветку. — Этот тупик свободен?

— Забит до отказа. Поезда, товарищ Гедров, сами знаете, дальше на север не идут, все у нас копятся.

— Сколько понадобится времени, чтобы освободить тупик?

— Часов... — Никанор Петрович покосился на бутерброды, на мелко колотый сахар, — часов пять.

— Сколько?

— Часов... часа четыре.

— Даю вам три часа. Тупик освободить, мой поезд поставить туда. Что ж вы не пьете чай? Не стесняйтесь, пейте.

Поедая досадно тонкие ломтики бутербродов и запивая их горячим, ароматным, настоящим чаем, Никанор Петрович осторожно отвечал на испытующе-подробные вопросы Гедрова о городской жизни, мучимый одной мыслью: как бы разжиться хоть одним кусочком сахара.

Но хозяин вагона, положив руки на стол, как прилежный ученик на уроке, не сводя глаз с Никанора Петровича, внимательно слушал его.

— Что же, благодарю за сведения, — наконец-то, завершая беседу, сказал Гедров, склонился к нижнему ящичку стола.

Никанор Петрович склонил щепотью кусок рафинада из сахарницы. Гедров резко выпрямился на его движение, остановил метнувшийся взгляд на руке Никанора Петровича.

— Что там у вас? — громко спросил он.

Дверь за его спиной приотворилась.

Никанору Петровичу, уже державшему руку у кармана, выронить бы сахар, и сукно, устилавшее пол вагона, погасило бы звук, но ужас омрачил рассудок старого железнодорожника, он поднял руку, показывая похищенное.

— В-внучка... простите, ради... пять лет... первый раз... — лепетал Никанор Петрович, а сам уже видел, как его волокут из вагона, как швыряют...

— Церковь посещаете? — обрывая мычащий лепет, сухо спросил Гедров. Черным ветром махнуло в голове начальника станции: "Нет!", а губы шепнули:

— Да.

— Восьмую заповедь помните?

Гедров выдернул из-под стопы документов чистый лист писчей бумаги, свернул воронкой кулек, высыпал в него содержимое сахарницы. Холодно взглянув на исхудалого старика, сложил один на другой оставшиеся бутерброды, завернул их в лист бумаги.

— Берите! — приказал он, сдунул с края стола осевшую сахарную пыль. — Итак, через три часа тупик свободен. Персонально на вас возлагаю обязанность бесперебойного обеспечения поезда углем, водой и прочим. Каждое утро в 6.30 делаете мне максимально сжатый, исчерпывающий доклад о положении дел на станции, доносите о всех случаях лени, неповиновения, контрреволюционной агитации. — Гедров провожал Никанора Петровича к дверям. — И не верьте нелепым слухам, которые обо мне распространяют враги революции. Наши с вами враги. С ними я строг, порою строг чрезвычайно, но друзья молодой советской власти всегда найдут во мне товарища и старшего друга. Передайте это вашим родственникам, знакомым...

Запинаясь во тьме о шпалы, прижимая к груди кульки с так неожиданно доставшимися гостинцами для внучки, Никанор Петрович торопился в тупик — три часа уже начали свой роковой отсчет.

Глава вторая

ГОРОД N И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

N был одним из многих дореволюционных, похожих друг на друга губернских городов. С древним кафедральным собором и колокольной, возносившей свою золоченую главу над всеми колокольнями, колоколенками и звонницами епархии, с трехцветным флагом на губернаторском доме и часовым солдатом в будке, с главной Плацпарадной площадью, по соседству с которой раскинула свои угодья более многолюдная, шумная и неопратная площадь Торговая, с булыжной мостовой в центре и пыльными проселками на окраинах, с рекой, делившей город пополам.

Все, что издревле происходило на Святой Руси, отзывалось и в N. Пережил он княжеские междоусобные свары, претерпел наезды ханских баскаков, ревмя ревели бабы и молодичи, провожая своих мужиков и суженых на кроволитное побоище с агарянским князем Мамаем; приезжал

в N с опричной свитой грозный царь-государь, топтали городские мостовые копытами своих по-польски кованых коней горделивые, заносчивые паны...

Летучими снежинками, золотой листопадной поземкой пролетали над N годы, твердой поступью за веком шествовал век. Растаяла лежавшая на народной груди льдина крепостного права, по чугунным рельсам во все концы матушки-России покатались копотные, пыхтящие паровозы, и, словно вдогонку им, заспешила, заторопилась и сама жизнь в суеде народившихся новых интересов, мыслей и дел. Все чаще, сначала тайно, на дружеских вечеринках, в уединенных уголках пригородных рощ, стали слышны слова о свободе, равенстве и братстве. И хотя люди не могли объяснить точно и ясно, что такое — и свобода, и равенство, и братство, но слова эти так волновали слух и пламенили сердца, что верилось: стоит за ними что-то новое, несомненно счастливое.

Вскоре в N залетными, диковинными птицами замелькали листовки — то наспех, воровски наклеенные на забор, то дерзко пущенные с галерки городского театра в темный подвал партера, то разбросанные ночью по городскому рынку, то подкинутые в приемную самого губернатора.

И настал тот день, когда впервые за историю города не для крестного хода, не для молебствия о даровании победы благочестивому Императору на враги и супостаты, но для неслыханной от века д е м о н с т р а ц и и скопилась на улице, разрослась слепым тысячеголовым телом толпа и тесно двинулась по узкой улочке к дому губернатора. У Плацпарадной площади путь ей загородили две струнки солдатских шеренг. Поднялись и легли к плечам солдат винтовки, взмахнул саблей офицер, и, как удары кнута, хлестнули поверх людского скопища — один за другим — залпы. Толпа попятилась, смялась, ручейками хлынула в переулки, в подворотни, и упал на землю пожарно полыхавший над толпой красный флаг.

Еще с месяц было тревожно в городе и уезде. В городе была решительно пресечена попытка еврейского погрома, обнаружены и ликвидированы подпольная типография, мастерская по изготовлению метательных бомб и склад оружия. Двое неизвестных пытались проникнуть в губернаторский дворец, но один из них был убит в перестрелке с охраной, а другого зарубил шашкой казак из губернаторского конвоя. В уезде разграбили и сожгли несколько помещичьих усадеб, в одной из которых были зверски истерзаны не успевшие скрыться две девушки. Насильников схватили в тот же день. Около месяца длилось следствие, потом был суд. На суде либерал-защитник в многочасовой речи убеждал присяжных быть снисходительными к его подзащитным, видеть в их деянии не проступок конкретных лиц, а олицетворение народного гнева, народной совести, рвущейся из-под гнета невыносимых общественных условий к свету. Однако преступление было настолько вопиющим по своей безнравственности, что присяжные признали подсудимых виновными, суд приговорил их к смертной казни, и зимним морозным утром, когда так хочется жить, палач повесил их во дворе губернской тюрьмы.

Так завершилась в N первая революция. Жизнь снова потекла по привычному, вековому руслу.

Как встарь, по воскресным и праздничным дням город полнился раздольным говором колоколов, и после обедни одна половина города с подарками и поздравлениями шла в гости к другой. Окраины в эти дни допоздна звенели удалыми, пьяными гармониями, в солидных особняках звучали благородные рояль и виолончель, а в домах средней руки крутился диск граммофона, и какая-нибудь мамзель Жаннет страстно визжала о любви его превосходительства к озорной шансонетке.

Летом городские сады и палисадники у домов захлестывала душистая кипень сирени и цветущих яблонь. В кустах гремели, свистели, томно прищелкивали соловьи. И хорошо было присесть с любимой подругой на лавочку в городском саду, слушать соловьев, следить, как мерцают, медленно разгораются и внезапно тонут в темной глубине клумбы таинственные огни светляков.

Зимой к городу со всех сторон тянулись обозы, сиреневым бором стояли дымы из труб, снег в ночь перед Рождеством все так же блестел хрустальными звездами, и на тридцатисаженной высоте добропобедно сиял в месячном свете золотой крест епархиальной колокольни.

В двух городских монастырях и полусотне приходских церквей у чудотворных намоленных икон теплились неугасимые лампы. Под их кротким светом текла семейно-привычная жизнь N, в чем-то, быть может, нескладная, неурядливая, трудная и горькая до кипучих непрощающих слез, но во всем, до последней больной кровинки, своя, за которую и буйную голову сложить не жаль. Та жизнь — с терпеливой любовью и заветами потаенного милосердия, с преданьями, легендами и поверьями, завещанными от отцов и дедов, которую вскоре (и недолго осталось ждать) назовут проклятой, патриархальной, облепят обидными, поносными прозвищами.

Первые месяцы германской, второй Отечественной, войны не внесли заметного разлада в устоявшийся быт, разве что люди стали несколько строже и молчаливей. В здании епархиального училища и мужской гимназии открылись лазареты для раненых бойцов, братство хоругвеносцев при соборе Всемилостивого Спаса оборудовало на свои средства богадельню для увечных воинов, и повсюду собирались средства в фонд победы над врагом.

Летнее наступление генерала Брусилова на третьем году войны подняло в городе волну ликования и восторга, пробудило надежды на скорое окончание военной страды. Однако потом потянулась осенняя затяжная полоса неудач, необъяснимых поражений. У магазинов и лавок выросли непривычные, пугающие очереди. А в очередях змеились слухи, которых не принимало сердце, но они точили его, как капля камня, — слухи о Государе и Государыне, о Григории Распутине, об измене...

И вдруг — как гром среди ясного неба — отречение Царя от престола.

Первое чувство недоумения, даже страха от этой вести, — как же жить без Царя? — дня через два, когда новость подтвердилась, сменилось бурным ликованием: свобода, граждане! Ура!

Восторженный народ высыпал на улицы. Впечатление было такое, что в домах остались, верно, только немощные старцы да грудные дитяти. Везде, куда ни глянь, адели банты — в петлице студенческой шинели, на солдатской папахе, на гражданском пальто. Громыхали оркестры, кричали гармошки, здесь и там хором распевались еще вчера запретные песни. Люди обнимались, целовались, поздравляя друг друга со свободой. Казалось, все опьянели от нее. И в самом деле, на улицах было много пьяных: сухой закон, введенный в начале войны, отменился сам собой — Царя-то нет!

Упоительный пир свободы не мог длиться бесконечно. Люди успокоились, начали трезво смотреть на жизнь не только с праздничной стороны, но осенью, в октябре, совершился большевистский переворот. Жители N не успели дух перевести, сообразить, что к чему, как в стране уже бушевала гражданская война.

Военные действия не затронули N, и все же ночью на улицах грабили, убивали и раздевали, и никто не мог поручиться, что, открыв поутру дверь, он не обнаружит у своего дома мертвое тело или лужу крови — немых свидетелей ночной трагедии. Не легче было и днем. Как-то накануне Сретенья (в Спасском соборе еще шла обедня) на улице слышались гулкие хлопки гранатных разрывов, а с крыши лучшей городской гостиницы "Эрмитаж" рывкнул и дробной, тяжелой очередью залился пулемет.

В N стали поговаривать, что в город отовсюду собираются офицеры. На подмогу им будто бы должны прийти не то англичане, не то французы, и тогда водворится прежняя, надежная, устойчивая жизнь.

Этого не произошло, ибо поздним мартовским вечером к перрону вокзала прибыл бронепоезд с пассажиром, размещавшимся в вагоне первого класса.

Глава третья

НЕУТОМИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Застегивая френч — верхнюю пуговицу, крючок ворота, — Гедров из-за оконной занавески отстраненно-задумчиво смотрел на прибывших по его вызову руководителей города и губернии. На скудно освещенном перроне отдельные человеческие фигуры различались плохо, в темноте обрисовался лишь смутный силуэт сгрудившихся у вагона людей. Разгоравшийся огонек

самокрутки озарял кратковременным красным всплеском чье-то лицо, и оно сразу окуналось во тьму.

— Товарищ Гедров, — спросил ожидавший распоряжения ординарец, — сапоги?

— Нет, благодарю, — отходя от окна, сказал Гедров. — Как приеду на новое место, с дороги ноют суставы. Скажите им, пусть заходят.

Так, переменявший вольную, затрапезную рубашу на казенный, должностной френч, встречал он за столом заходивших в комнату: секретаря губкома — высокого, пышноусого кавказца, еще не так давно отбывавшего в N ссылку; председателя губисполкома — русоволосого, с небольшим животиком и лисьими повадками человека; крепкого, плечистого, с ястребиным носом и слегка навывкате глазами, вразвалку, по-матросски шагавшего председателя губчека.

Когда все расселись на стульях вдоль стены, Гедров представился и несколько томительных мгновений испытующим, нестесняющимся взглядом рассматривал собравшихся, будто без слов допрашивал их.

Губернские руководители, люди в общем-то тертые, выдавшие виды, поживавшие под этим взглядом: у каждого были свои грешки, упущения по службе. Они ждали гневного разнosa, ругани, но уполномоченный заговорил с ними беседующим, дружеским голосом.

— Цель, поставленная передо мною Военным советом республики, — говорил он, — не допустить, чтобы N, крупный железнодорожный и речной узел, экономический и политический центр, оказался в руках врагов революции. Для этого нужно: во-первых, разобратся, почему город оказался на грани контрреволюционного мятежа. Расследование будет произведено и виновные наказаны. Во-вторых, я должен научить работать тех, кто разучился, и заставить тех, кто работать не хочет. Каждый из вас с этой минуты, — уполномоченный постучал ногтем по столу, — должен понять: время разгильдяйства, лени, прошлых заслуг — миновало. Бдительность, энергия, строжайшая дисциплина — вот наш девиз. Прошу понять мои слова не как угрозу, а как последнее товарищеское предупреждение — я любого человека сумею поставить на его место, поэтому я не потерплю рядом с собой вранья, пьянства, воровства, интриг и подхалимажа.

Уполномоченный, болезненно поморщившись, вышел из-за стола, и все со скрытым изумлением увидели, что на ногах у него не сапоги, логично ожидавшиеся с военным френчем и галифе, а домашние тапки. Высокие, чуть не до половины голени, пошитые из шкуры рыси тапки.

— Итак, это что касалось вас. — Уполномоченный медленно прогуливался по вагону. — Теперь, что касается наших врагов. Приходилось ли вам видеть, как цирковой укротитель заходит в клетку к диким зверям, как одним властным щелчком бича он дает понять — пришел хозяин, спуску никому не будет. — Гедров помолчал, легкая гримаса боли исказила его лицо. — Такова и наша первоочередная задача — щелкнуть революционным бичом. Господа, мечтающие о возврате вчерашнего дня, должны узнать: хозяин здесь, он никуда не уходил и вновь готов действовать.

Гедров скользнул своим особенным взглядом по присутствующим.

— Так точно, товарищ Гедров, готовы действовать, — выпалил вскочивший со стула секретарь губкома.

Гедров, не привикший, чтоб его перебивали, хмуро взглянул на него.

— Хорошо. Садитесь, — качнул он ладонью и снисходительно, понимающе улыбнулся. — А теперь приступим к конкретным вопросам...

Наутро N был объявлен находящимся на осадном положении, в нем был установлен комендантский час и произведены первые аресты. Губчека предоставила данные, и из тех семей, в которых кто-либо из мужчин служил в белой армии, взяли заложников различного возраста и пола: от 86-летнего бывшего вице-губернатора Николая Ивановича Засецкого до молодой беременной Лизочки Гордеевой, первой городской красавицы, чей жених незадолго до приезда Гедрова исчез из города. Три дня они содержались под арестом, а затем ночью их всех расстреляли в канаве за оградой иноверческого кладбища, где обычно хоронили самоубийц и безродных бродяг.

Этот расстрел заставил город содрогнуться. А по нему тут же был нанесен следующий удар.

В назначенный день и час вооруженные отряды закрыли город, заняв окраинные городские заставы. А в городе в это время, процеживая квартал за кварталом, сходясь к центру, по улицам двинулись облавы. Улицы перекрывались заслоном из красноармейцев, и все, угодившие в невод облавы, — кто не успел разбежаться по домам, знакомым и соседям, шмыгнуть в ближайшую подворотню, — все они препровождались в губчека для выяснения личности. Одновременно шел повальный обыск квартир, чердаков, чуланов, подвалов, погребов, дворовых сараев, амбаров, каретников. За двое суток буквально неусыпной работы губернский город был обыскан, прощупан, перерыт и перевернут сверху донизу. Без внимания не остались ни одна баржа на реке, ни логова бродяг и босяков под пристанью и мостами, ни притоны уголовного отребья, ни один заброшенный, пустующий дом. Из потаенных углов и скрытых убежищ на белый свет под револьверы и маузеры чекистов выходили бледные кадровые офицеры, лабазники и лавочники, те, кто числился в списках “черной сотни”, Союза русского народа и братств хоругвеносцев, выбирались дрожащие юнкера, безусые ученики старших классов гимназий и семинарий, — все, кто мог быть заподозрен во враждебном отношении к новой власти.

Губчека, находившаяся в двухэтажном здании бывшего реального училища, захлебнулась людьми — ими были переполнены коридоры, забит подвал, а человеческий поток не скудел. Тогда выбросили на снег мешки с мукой из близлежащего мучного склада, и в нем разместили задержанных.

В кабинетах губчека шли непрерывные допросы: кто такой, где живет, чем занимается, где учился, работал, воевал, что делает в №? В особо сложных, запутанных случаях к допросам подключался сам Гедров. Он же изредка принимал наиболее настойчивых просителей, которые в тревоге за судьбу своих родных добивались личной встречи с ним.

Когда в кабинет к нему пустили очередного посетителя, с уполномоченным произошла чудесная перемена. Никто бы не узнал холодного, недоступного, закованного в броню официальности и долга уполномоченного в улыбающемся, широко распахнувшем руки для объятий человеке. А виновник этой перемены, пошаркивая ногами, ковылял к нему со смущенной улыбкой, в которой светилась робкая надежда.

— Сергей, дружище, ведь это ты? Я не ошибся, — смеясь, воскликнул Гедров.

— Вы не ошиблись, — скромно отвечал ему Сергей Иванович Коноплянников, коренной житель №, в давние годы однокашник Гедрова по университету.

Обняв старого товарища, Гедров подвел его к столу, вежливо, но твердо пресек его “выканье”. После обычных житейских расспросов и непродолжительных, не клеившихся воспоминаний о студенческой жизни Сергей Иванович, заикаясь от волнения, изложил свою просьбу: освободить арестованного сына.

— Безотлагательно разберемся, — сказал Гедров, просияв открытой, приветливой улыбкой, и снова обнял старого товарища.

С этой же, вспоминающей что-то давнее, приятной улыбкой уполномоченный читал и следственное дело сына Сергея Ивановича, которое принесли ему.

Дело заключало в себе исписанный с двух сторон лист бумаги — протокол допроса. В верхнем левом углу листа красным карандашом черкнуто размашистое Р. — рекомендация Гедрова к расстрелу.

Сын Сергея Ивановича — офицер-артиллерист, участник мировой войны, дезертировал из белой армии, пробрался в родной город и проживал здесь под фальшивыми документами. При аресте оказал сопротивление — ударил безменом чекиста, оглушив его. Искупить вину перед Республикой и вступить в ряды Красной Армии отказался: участие в братоубийственной гражданской войне противно его убеждениям.

Гедров мельком взглянул из-за листка на Сергея Ивановича, в молодые годы задиру и остролова, а нынче дряхлого, придавленного жизнью старика, и, закрыв папку, неспешно завязав тесемки, сказал глуховато:

— Обвинения против твоего сына, милый Серж, к несчастью, слишком тяжелы, чтобы я мог принять единоличное решение о его освобождении. Мои соратники меня не поймут. Будем ждать, что постановит на своем заседании чрезвычайная комиссия.

— Дорогой мой, — трясущейся рукой поправляя пенсне, возразил Сергей Иванович, — ты не хуже меня знаешь, у комиссии одно постановление — расстрел.

— Зачем так категорично, — усмехнулся Гедров. — Бывает, что комиссия оправдывает задержанных. Впрочем, если ты убедишь своего сына перейти к нам на военную службу, даю слово, его освободят при тебе. Хорошие специалисты нам нужны.

— На что же мне надеяться? Что ожидать? Только скажи правду.

Они встретились взглядами, и в этот миг, который иногда стоит многочасовых разговоров, Сергей Иванович вдруг понял, как чужды они друг другу. Да, по совести сказать, никогда и не были по-настоящему близки. Даже в университете. Что могло быть общего у Гедрова — отпрыска богатых, чиновных родителей, и у него — сына захудалого служащего из городской управы? Ничего, кроме всеобъемлющей, ликующе-весенней юности.

— Боюсь, ты должен готовиться к самому худшему, — опуская взгляд, вымолвил наконец Гедров.

— Вот как! — Сергей Иванович вскинул голову, в глазах его сверкнул отчаянный, студенческий огонек. — Но почему, скажи мне, почему? Мой сын — прекрасный математик, геодезист-практик, разве ему не найдется работы в другом месте, почему он должен непременно воевать?

— Теперь революция распоряжается людьми, — сказал уполномоченный. — И люди обязаны либо подчиниться, либо умереть.

— Ах, революция, — словно извиняясь за свою непонятливость, вздохнул Сергей Иванович. — Так будь она проклята, если она пожирает наших детей.

Гедров сжал побелевшие губы, но ординарца не вызвал.

Допросы закончились. Многих отпустили, а для оставшихся незадолго до рассвета растворились ворота склада, и в стылom полумраке мартовского утра длинная колонна измученных допросами, голодом и ожиданием смерти людей под конной охраной двинулась за город. Позади колонны, постукивая железными ободьями колес по булыжной мостовой, катились две телеги. На них везли тех, кто не мог идти — был болен или ранен при задержании.

Колонна смертников проходила улицами спящего, как будто вымершего города, не встретив на своем скорбном пути ни одного человека. Горожане спали в своих домах, не смея выйти наружу, а уличные, усиленные в эту ночь патрули незримо таились за углами отдаленных домов.

Люди шли по улицам города, прощаясь с ним: с детством, с первой, выученной от бабушки молитвой, с первым, помнящимся в памяти причастием, с недочитанными книгами, с оборванными, неоконченными мечтами, думами, со всем, что дорого сердцу.

Но не все спали в городе в эту ночь. Чье-то любящее сердце почуяло, что дорогого человека повели на смерть. И, презрев страх, не убоившись патрулей, одна храбрая женщина пустилась в опасное странствие по мрачным каналам улиц. Догнала и у крайнего городского дома проводила беззвучной крылатой молитвой уходившую к рассвету колонну.

Обратно в город смертные телеги вернулись к полудню. На них, накрытые брезентом, холмились одежда и обувь убитых.

А городские афишные тумбы, еще несколько лет назад украшенные именами несравненного тенора И. Алчевского, короля баритонов М. Баттистини и блистательной М. Фигнер, приняли на свои круглые бока свежие оттиски губернской газеты с длинными столбцами фамилий расстрелянных.

И много пожилых и молодых женщин в отчаянии потресленно замирали у этих тумб, спешили домой и там, в жгучих, иступленных обморочных слезах, крестясь и рыдая у семейных, родовых икон, облачались в черные, ночные платки.

Через два дня, поздним вечером, Гедров выходил из здания губчека, отправляясь на вокзал. Он открыл дверь, шагнул на улицу, как тут же прозвучали выстрелы. Первая пуля пробила фуражку на уполномоченном, от второй его стремительно заслонил молодой, восемнадцатилетний чекист, пораженный пулей в сердце. Охрана втокнула уполномоченного обратно в здание, открыла ответный огонь.

Стреляли из покинутой хозяевами, осиротевшей книжной лавки через дорогу от губчека. Неизвестный, отстреливаясь, убил еще двоих человек,

одного тяжело ранил и последней пулей выстрелил себе в рот. Личность его установить не удалось, при нем не было ни документов, ни часов, ни денег, ни клочка бумажки, ни меток на белье. Он проник в лавку, разобрал с чердака потолок. Судя по теплой одежде, остаткам недоеденной пищи и количеству папиросных окурков у печи, можно было предположить, что он находился в засаде не один день.

Гедров был возмущен. Не самим фактом покушения, поскольку его жизнь, подчеркивал он, жизнь скромного труженика революции, немного значит для истории, а тем, что контрреволюция свила свое осиное гнездо под самым носом губчека.

За утрату бдительности, халатность и безалаберность Гедров отдал председателя губчека под суд ревтрибунала, который единогласно приговорил того к расстрелу. Гедров, однако, не утвердил приговор, пожурил членов трибунала, что они разбрасываются кадровыми работниками, и разжаловал председателя в рядовые сотрудники.

Ответом на вылазку врага была еще одна общегородская облава. Почти все, попавшиеся в ней, были расстреляны.

Город накрыла паутина страха. Знакомые улицы казались чужими, на постаревших домах, на серых лицах людей появилось прячущееся, молчаливо-послушное выражение, словно каждый хотел стать меньше, незаметнее. Казалось, даже сам солнечный свет приобрел какой-то тусклый, щемящий, стеклянно-колючий оттенок.

А на бывшую Плацпарадную, а теперь площадь Свободы каждый день по повесткам сходились люди. Там под громы оркестров и пение революционных песен, под развешивание знамен один за другим текли нескончаемые митинги, завершавшиеся принятием резолюций, то посылавших приветствия бастующим английским рабочим, то клеймивших зверства американской полиции при разгоне демонстрантов...

Вроде бы жизнь продолжалась, бурлила, била ключом, но люди понимали — это видимость жизни, подлинная жизнь творится не здесь, на площади, и не в здании бывшего реального училища, а в одиночном вагоне первого класса, что стоял на высокой крутой насыпи тупика под охраной круглосуточного караула.

Глава четвертая

ОТЪЕЗД УПОЛНОМОЧЕННОГО

Новым председателем губчека был назначен Алексей Блеханов — в прошлом слесарь вагоноремонтных мастерских, солдат-окопник в годы империалистической войны, активный участник установления советской власти в Н.

В прощальной беседе с ним Гедров сказал, что органы ВЧК — это становой хребет советской власти на местах, и поэтому он надеется на его пролетарскую неутомимость в борьбе с классовыми врагами.

Гедров принимал Алексея в жилой половине своего вагона. Стены здесь тоже были обиты кожей, и пол застилало серое шинельное сукно, но над кроватью висела семейная фотокарточка, а рядом с ней в золоченой рамке картина — красивая женщина с мечом, наступившая на отрубленную голову мужчины. Меж окон полки с книгами, на одной полке в вазочке букетик засохших незабудок. У другой стены, напротив кровати — пианино.

— Вы, возможно, будете меня порицать, уважаемый Алексей Николаевич, — с ласковой улыбкой говорил Гедров, — но без музыки, увольте, не могу. Мудро сказано: только в Моцарте защита от бурь. Я бы добавил, и в Бахе, но для Баха все же предпочтительней орган.

Алексей, ковыряя изящной серебряной вилкой рыбу на бледно-прозрачном фарфоровом блюде, тайком вытер о брюки вспотевшую ладонь. Великолепно накрытый стол, обходительный, на равных разговор уполномоченного с ним, вкусные купанья, сладкая водка из запотевшего хрустального графинчика — все так ошеломило его, что он, казалось, лишился дара речи.

В конце ужина двое прислуживавших молодых людей удалились, оставив на столе вазу с яблоками и большую коробку душистых папирос.

— Не возражаете, если я немного помузицирую? — сказал Гедров, вытирая руки желтой льняной салфеткой.

Алексей, до конца не веря, что Гедров не подшучивает над ним, а говорит искренне, покраснел. Скрывая смущение, он взял папиросу из коробки, закурил и задохнулся в кашле. Нежный, по сравнению с привычным махорочным, дым папиросы словно пушистым пером пощекотал в горле.

Гедров деликатно протянул Алексею стакан воды и, когда тот отдышался, сказал:

— Так что же вам предложить? Для начала что-нибудь легкое, школьное? Хотя бы... "К Элизе" Бетховена.

Гедров задержал на миг пальцы над клавишами, окинул Алексея задумчивым, далеким взглядом.

Алексей первый раз в жизни слышал пианино. С четырнадцати лет слесарь в мастерских, из цеха угодивший прямо на фронт, что видел и знал он к двадцати пяти годам, когда судьба вознесла его на пост председателя губчека? Конечно, до фронта он много читал и трудовую копейку нес не в кабак, как многие сверстники, а отдавал матери, но единственный музыкальный инструмент, доступный ему, — была отцовская гармонь.

Но разве сравнить гармошку с тем, что он слышал сейчас?

Прозрачная, текучая печаль, жившая в музыке, казалось, была всюду — в воздухе вагона, в складках оконных занавесок, в золотых буквах корешков книг на полке, в глазах женщины и детей с фотокарточки. Музыка текла из пальцев строгого, волевого человека, одно имя которого наводило страх, будило бессильную злобу и ярость в тысячах и тысячах людей (за сотни километров отсюда и рядом — в подвале губчека), которым никогда не дано проникнуть в этот вагон.

Но музыка отгоняла прочь эти житейские помышления, смывала их с души, и на глубокий обманчивый миг душе представлялась какая-то светлая, очевидно, лесная река, сплошь заросшая белыми звездами кувшинок, и думалось, что гражданской войны нет, все друг друга любят, всюду только музыка.

Алексей вспомнил, что эту лесную речку он видел на самом деле. Их рота отступала лесом под огнем австрийской батареи. Тогда он и увидел речку, тогда же его звездануло осколком в правый бок, вынесло два ребра и задело легкое. Вспоминая это, Алексей вдруг обнаружил, что музыки больше нет, а товарищ Гедров, сложив руки на колене, с улыбкой смотрит на него.

— Да вы, Алексей Николаевич, оказывается, — мечтатель, — сказал Гедров, вновь поднимая руки к пианино.

Алексей опять покраснел, сконфузился, словно его уличили в неопозволительном взрослому человеку поступке.

В дверь комнаты постучали.

— Я слушаю, — отозвался уполномоченный.

— Товарищ Гедров, — сказали за дверью, — командир бронепоезда докладывает — поезд к отправке готов, путь свободен. Ваши распоряжения?

— Снимайте караул, командира и начальника станции ко мне. Через пять минут отправляемся.

Глава пятая

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГУБЧЕКА

Позвонив с вокзала на службу, узнав, как там дела, Алексей заспешил домой.

Автомобиль, привезший его на вокзал, изломался; ждать, пока его починят, недосуг, и он двинул домой на своих двоих. Легкий на ногу Алексей пешком ходил, как бегом бежал, не угонишься. А сегодня он и впрямь бежал, подхватив под мышку колотивший по бедру тяжелый маузер.

Дома Алексей приобнял радостно ахнувшую жену, расцеловал дочек-погодков, игравших на кровати в куклы (на пол их до лета спускать нельзя,

на полу вода мерзнет), стащил полушубок, сдернул с полатей гармошку, обдул ее со всех сторон.

Песни, частушки и плясовые наигрыши Алексей схватывал на лету. Недавняя музыка еще целиком жила в памяти. Хотелось выучить ее на гармошке, затвердить, чтоб потом играть для себя, для дочек, для жены.

Бережно дотрагиваясь до кнопок, он начал подбирать звук к звуку, сливать их, вытягивая в ниточку мелодии. Но только раздались первые звуки, музыка почему-то начала таять в голове, рваться на клочки. Подберет он один кусочек, примется за другой, а первый уж забыл, скорей схватится за него, а второй пропадает, тонет, как в тумане.

Маруся, оставив стряпню, зашла в комнатенку. Дочки, счастливые, что видят отца, с кровати дотянулись до него ручонками, цеплялись за него, отталкивая друг дружку.

— Катюша, Ниночка, — шептала Маруся, замечая, как глубже залегает морщина досады на лбу мужа, как терпеливей, злей давят на кнопки пальцы.

Как ни бейся, ничего не получалось. Если б записать на бумаге, что помнится, тогда б и другое уверенней вспоминалось. Но записывать музыку он не умел, этому надо учиться.

Алексей сорвал ремень с плеча, швырнул гармонь на полати.

— Поиграй, Леша, — Маруся прижалась к его плечу, обняла мужа.

— А ну ее к богу в рай, несолидно баловством этим заниматься, — переламывая досаду, отшутился Алексей, подхватил дочурок на каждую руку, закрутился в комнатенке, чмокая их в щеки. — Скоро, скоро из гнилухи этой на хорошую фатеру переедем. Как баре заживем.

— Побыстрей бы, — вздохнула Маруся, радуясь, что муж в хорошем настроении и, быть может, пришел надолго. А то все бывает набегом, сердитый, усталый.

Алексей предполагал провести этот вечер дома, но только они сели ужинать, только завели разговор о новой квартире и Маруся пожаловалась, что Катя второй день кашляет и плохо спит, как за окном послышался шум подъезжающего автомобиля. Алексей с Марусей переглянулись с надеждой: не к ним.

Автомобиль остановился у их дома. Шофер привез записку от начальника отдела по борьбе с бандитизмом.

Алексей дохлебал щи, оделся, перекинул через голову на плечо ремешок маузерной портупей, подморгнул жене:

— Приеду через час, — и вышел за порог.

В городе уже несколько месяцев пропадали мужики из пригородных деревень. Приедет человек в город и — как в воду канет. Первый сигнал поступил с полгода назад, но ему не придали значения: война идет, мало ли где человек мог пропасть. Затем второй, третий случай, их накопилось больше дюжины. Очевидно, в городе орудует шайка.

А оказалось — всего лишь муж с женой. Они приглашали приехавшего в город крестьянина к себе на ночлег, убивали его и, обчистив убитого, спускали труп его ночью под лед.

Всего эта парочка наладила в "Могилевскую губернию" ни много ни мало шестнадцать человек. Было подозрение, что они и человечинкой торговали, но в этом признания выбить из них не смогли. Убийц отправили в подвал, а к Алексею с ходатайством о них пришел начальник оперотдела Петр Лукич Задман. Люди такого сорта были неоценимым материалом в оперативной работе. Сидящим "на крючке": расстрел или жизнь, им можно было поручать самые неприятные задания. Алексей в ходатайстве отказал. Ладно бы они ухайдакали одного-двух, ну, трех человек, это еще куда ни шло, но — шестнадцать!

— Только — в расход, — сказал Алексей.

Петр Лукич уламывал Алексея битый час и все же добился, что тот обещал подумать.

Алексей было собрался ехать к семье, как поступило сообщение о взрыве на городской электростанции. Это пахло уже не уголовщиной, все поехали туда. Там была элементарная неосторожность, но выяснение затянулось, и когда Алексей вернулся на службу, домой ехать не имело смысла, только всех перебудить. В пять утра уже начинался новый рабочий день.

У себя в кабинете Алексей бросил на кожаный диван давно принесенную из дома подушку и лег, накрывшись полушубком. В ночной тишине к нему снова пришла музыка. Как бы воочию он снова увидел легкие пальцы, скользящие над белой разграфленной дорожкой клавиш, как они безошибочно точно, то жестко — ударом, то мягко, едва прикоснувшись, рождают музыку. И, лежа на диване, вдыхая ветровой, дорожный запах полушубка, Алексей с завистливой тоской подумал, что никогда не сможет играть так, никогда не придет к нему в отдельный вагон молодой сподвижник и он, повернувшись на стуле, поглаживая пальцы, как бы что-то стягивая с них, никогда не скажет: “Итак, с чего начнем?”

Почему же, почему так устроена жизнь? Почему с детства он не учился играть на пианино, не ходил в гимназию с гувернанткой, а стоял у тисков с зубилом и напильником, зарабатывая гроши на прокорм больной матери и младшим братьям с сестренкой? Почему он слушал не музыку, а каждодневный мат пившего запоем отца? Кто виноват во всем этом? Кто отнял у него детство? Кто потом всучил ему винтовку со штыком, и он месил с нею фронтовую грязь, голодовал, вшивел в окопах, мыкался по провонявшим гноем, потом и хлороформом госпиталям?

“Порежем всю контрреволюционную сволочь, — подумал Алексей, засыпая, — настанет коммунизм, обязательно пойду учиться”.

Рабочий день начинался с приведения в исполнение высшей меры социальной защиты, а попросту — с расстрела осужденных за контрреволюционную деятельность и бандитизм. Присутствие на нем было одной из обязанностей председателя. Обязанностью, конечно, малопривлекательной, тяжелой, но необходимой. Товарищ Гедров на совещании, посвященном самоубийству начальника спецотдела, так сказал об этом: “Французский политик Ришелье признавался: “У меня нет личных врагов. Все, кого я преследовал и карал, были врагами государства, а не моими”. Мы же, отбросив буржуазное лицемерие, говорим открыто: враг революции — мой личный враг. Точка. И никаких нервов. Поменьше переживаний, товарищи, это ваш долг, это ваша работа”.

Сегодня осужденных было немного — четырнадцать человек. Но в первой же пятерке произошел казус, какого не бывало. Осужденные догола разделись, подошли к черным прямоугольникам, закрашенным на стене подвала, исполнители вскинули револьверы. Промажнуться было нельзя, стреляли практически в упор. Грянули выстрелы, осужденные повалились. Запахло горячим порохом и свежей кровью. Как вдруг крайний расстрелянный (учитель гимназии, контрреволюционная агитация) приподнялся на четвереньки, ерзал руками по скользкому полу, силясь встать, и, истекая кровью из простреленной головы, хрипел: “Помилосе... помило...” Ответственный за него исполнитель подскочил, выстрелил и надо же — промахнулся, третий раз, и опять не попал, и тогда, перехватив револьвер за ствол, отчаянным ударом сорвал верхушку лысого, с закрайками седых волос черепа.

Как потом установили, случай был редчайший: пуля вошла в затылок и вскользь вылетела возле уха, только оглушив казнимого.

Исполнителя быстро вывели из подвала, вызвали к нему врача. Чтоб не затягивать время, на вторую пятерку по старой памяти встал сам Алексей, у него рука была твердая. Это неоднократно с похвалой отмечал товарищ Гедров, любивший посещать по утрам подвал губчека.

Поднявшись из подвала к себе в кабинет, Алексей почувствовал, что еле стоит на ногах. Сказывалось постоянное недосыпание (спать приходилось по 4—5 часов), да и случай с учителем, что и говорить, был все же переживательный.

Алексей открыл правую створку заглубленного в стену шкафа, налил в чашку с изображением целующихся голубков водки из стоявшего в шкафу чайника, закусил водку куском колбасы и ломтем круто посоленного хлеба и включился в работу: чтение оперативных сообщений, писем (доносов), прием посетителей, допросы задержанных.

Около одиннадцати часов он устроил себе перерыв — поприседал, двадцать раз отжался от пола, выпил два стакана крепчайшего чая. Затем машинкой он набил в папиросную гильзу махорки, отстриг ножницами бумажную трубочку, заправил табак в наборный, привезенный с фронта

трехвершковый мундштук и, прикурив, подошел к окну. Направляясь к губчека, дорогу переходил, сопровождаемый двумя красноармейцами из конвойной роты, настоятель Лазаревской кладбищенской церкви — отец Панкратий Примагентов. Чуть сбоку от красноармейцев следовал сотрудник губчека Тимофей Проимин.

Часа полтора назад из отдела искусств губисполкома Алексею позвонили с просьбой дать кого-нибудь из сотрудников. Узнав, что идут к отцу Панкратию и два красноармейца уже есть, Алексей недовольно буркнул:

— Может, тачанку к этому попу послать? — и все же выделил Тимофея.

Глава шестая

ОТЕЦ ПАНКРАТИЙ ПРИМАГЕНТОВ

Отец Панкратий Примагентов был личностью в N примечательной. В ежегодном городском крестном ходе от кафедрального собора к известному всей России подгородному монастырю над многочисленным морем богомольцев возвышалась его исполинская фигура.

В молодые годы он в числе первых учеников закончил в N семинарию и был оставлен при ней. Но преподавательская деятельность ему не удалась по причине его порывистого, гневного (хотя и быстро отходчивого) нрава. Он попросился на приход, около двадцати лет священствовал в церкви благоверного князя Александра Невского, а когда новая власть закрыла эту церковь, был переведен в Лазаревский храм. Его многочисленная паства последовала за ним.

Литургия Преподосвященных Даров приближалась к концу. Отец Панкратий причастил исповедников, дьячок вычитывал псалом "Благословлю Господа на всякое время". В церкви витал бытовой, не нарушавший благочиния службы шумок: люди у свечного ящика получали просфоры, разбирали свои поминальнички.

Вдруг громко, отрывисто хлопнула дверь притвора, и в храме сперва шелестящим шорохом, а затем нарастая, поднялся непристойный галдящий шум. В этом шуме различалась поступь нескольких человек, идущих через храм, в особенности же четкий, копытный цокот чьих-то подкованных сапог.

— Остановитесь! — пронзительно хлестнул женский вскрик, и церковь, как обвалом камней, наполнилась говором и топотом ног.

С забившимся в негодование сердцем отец Панкратий накрыл покровцем Чашу, вскинул взгляд на икону "Сосшествие во ад" над жертвенником, перекрестился и царскими вратами вышел на амвон, заслонив путь уже всходящим на него трем неожиданным посетителям. Одного он знал — Тимофея Проимина, в царское время кочегара на лесобирже, пьяницу и кощунника, ныне состоявшего на службе в ЧК. С Тимофеем были еще двое — молодая, бледнолицая, некрасивая женщина в поношенном пальтишке с каким-то свалывшимся и едва ли не кошачьим воротником; и парнишка лет пятнадцати, в черной, гимназической, видно, что с чужого плеча, шинели. На Тимофее была барашковая солдатская папаха, на мальце — треух. В довершение всего — малец курил.

У дверей притвора переминались с ноги на ногу красноармейцы с винтовками.

— Кто вы и почему бесчинствуете в храме? — спросил отец Панкратий. Унимая желание вырвать у мальчика сигарку, он правой рукой взялся за цепочку наперсного креста.

— Мы из губисполкома. — Женщина предъявила священнику бумажку с круглой печатью. — Нам поручено провести опись церковного имущества.

— Богохульники.

— Губители вы и есть, — загомонил народ.

— Кто бы вы ни были, — заглушая гомон, ответил отец Панкратий, — прошу вас не курить в храме, снять головные уборы. Женщину в алтарь я допустить не могу.

— Не больно, поп, фуфырься. — Тимофей поставил ногу на амвон, притопывал носком. — Куда хотим, туда и найдем.

— Не иначе, — подпел ему сосунок в шинели, выпустил дым ноздрями и, насмешливо глянув на прихожан, сикнул из-под губы тонкой струйкой слюны.

Громкий вздох гневного изумления всколыхнул храм.

Отец Панкратий стиснул цепочку в ладони, перевел дыхание и, желая все же кончить дело миром, сказал:

— Прошу вас — будьте людьми, не безумствуйте.

Женщина повернулась к Тимофею с намерением что-то сказать ему, а он самоуверенно шагнул вперед:

— Проповедь окончена? Посторонись.

Отец Панкратий не шевельнулся. Тимофей взял вправо, священник выставил руку.

— В чека захотел? — пригрозил Тимофей.

— Там ему мозги вправят, — подстегнул мальчишка и прилепил обсосанный, дымящийся окуроч сбоку большого, лоснившегося от лампадного масла подсвечника.

Смахнув паскудный окуроч на пол, отец Панкратий столкнул своим большим животом Тимофея с амвона и, возгораясь праведной яростью, прогремел:

— Вон, хриstopродавцы!

Прихожане и незваные гости отшатнулись, будто от удара, огоньки свеч на подсвечнике легли набок и как один потухли, словно бурный порыв ветра сорвал с них огненные лепестки.

— Значит, так, — с трусовато-смущенной ухмылкой сказал Тимофей, оглушенно тряхнул головой, и тут же взгляд его налился прежней самоуверенной злостью. — Арестовать его!

— За что? Почему? — загудели голоса.

— Не отдадим батюшку, православные!

И люди, послушно расступавшиеся перед шагавшими красноармейцами, сомкнулись, не пропуская их дальше. Расталкивая прихожан, красноармейцы рвались вперед, но окружавшие их прихожане еще плотней жались к ним. И так сдавили со всех сторон, что красноармейцы не то что двинуться вперед, рук поднять не могли.

Такого оборота событий никто не предвидел — ни отец Панкратий, ни припешельцы, ни сами прихожане.

— Господи, что вы делаете? — испуганно вскрикнула бледная женщина, и отец Панкратий увидел, что это совсем юная девушка, просто от голода лицо ее осунулось и постарело.

— Ну, поп, — шипел сквозь зубы Тимофей, скреб пальцами по кобуре нагана. — Ты ответишь за это по всей строгости ревзакон.

Отец Панкратий оглядел народ, беспомощных красноармейцев, словно запечатанных в людской массе, и сказал обреченно:

— Пустите воинов. Не препятствуйте им.

Глава седьмая

В ГУБЧЕКА

Алексей вышел из кабинета на широкую площадку, куда поднималась из вестибюля парадная лестница реального училища, наблюдая из-за колонны за происходящим внизу.

В вестибюле, где размещалась дежурка, стукнули об пол винтовки красноармейцев, и Тимофей сердито сказал:

— Принимайте попа. Надоел хуже горькой редьки.

— Как не принять желанного гостя. Давно ждем, — с едкой улыбкой говорил дежурный, выходя из-за барьера, отгораживавшего дежурку от остальной части вестибюля.

— Эка башня вавилонская.

— Дубина стоеросовая, — посмеивались чекисты на лавке за барьером.

Дежурный обшарил карманы отца Панкратия. Расческу, кошелек с деньгами, часы положил на стол за барьером, полистал карманное Евангелие, вернул его и протянул руку, чтобы снять наперсный серебряный крест.

— Не касайся до святого креста, иже не ты возложил на место сие, — сдержанно промолвил отец Панкратий, накрыв крест ладонью.

— Ай, поп, — всхотел один чекист, — как в церкви своей командует.

— Я до тебя прикоснусь — запляшешь у меня, — хмуро сказал дежурный. — Сымай сам, не кобенься.

— Пляске не обучен. — Отец Панкратий покачал головой, не убирая руки.

Чекисты скопом, молча пошли из-за барьера.

— Чего с ним толковать, — опередил их Тимофей, — коль русского языка не понимает, — и, подбежав, залепил священнику оплеуху.

Отец Панкратий, вспыхнув, оттолкнул рукой Тимофея, но от обиды не соразмерил силу движения, и сметенный с ног Тимофей кубарем покатился по мраморному полу вестибюля. Охнув, отец Панкратий шагнул, чтоб скорей поднять его, и тут же был облеплен наседавшими на него чекистами: двое овладели его руками, третий прыгнул на спину и, запустив пятерню в густые волосы священника, ломая шею, отгibal назад голову, а дежурный вцепился ему в грудь и дважды ударил кулаком в лицо. Отец Панкратий распрямился, крутнулся своим огромным телом, взмахнул руками — чекисты полетели по сторонам, затрещал барьер, со стола дежурного с грохотом и звоном повалился телефонный аппарат.

— Ах, с-сука, — вскакивая с пола, рвал кобуру револьвера дежурный.

— Что тут за свалка? — Алексей появился из-за колонны.

Все замерли. Из опрокинутого на столе дежурного графина, побулькивая, лилась на пол вода.

— Да вот, товарищ председатель, попа оформляем. — Дежурный застегнул кобуру, оправил гимнастерку.

— Работнички, — хмыкнул Алексей, — впятером одного скрутить не можете. А вы чего стоите, как пни, — закричал он на красноармейцев. — Швабры вам дать, а не боевое оружие. Ну-ко, ходом его сюда!

Красноармейцы, наставив винтовки, погнажи отца Панкратия по мраморной, избитой прикладами и подкованными сапогами лестнице, на второй этаж. Не подобало ни сану, ни летам отца Панкратия так оголтело нестись, перешагивая через две ступеньки. Он укоротил шаг и сразу получил тычок штыком в спину.

— Ты заходи, — сказал Алексей Тимофею у своего кабинета, — а вы тут стойте.

В кабинете Тимофей рассказал, что и после ареста священника народ не пустил их в алтарь, стеной встал у иконостаса, а когда он повел отца Панкратия в губчека, народ хотел идти следом, а поп сказал, чтоб все оставались, страдать — дак одному.

— Тебя, болвана, зачем туда послали? — заорал на Тимофея председатель. — Ты почему не стрелял, когда в церкви антисоветский мятеж? А бугая этого ты на кой ляд сюда приволок, через весь город крестный ход устроил? Ему у стенки места не нашлось?

— Да что ты, Алексей Николаич, — обиделся на незаслуженную выволочку Тимофей. — Вчерась бабенку хлопнул — неладно, сегодня попа не хлопнул — обратно не угодил. Как работать-то мне?

Алексей погонял желваки на скулах.

— Говори с оболтусом. Как ему работать? Пустой своей думать, вот как. У этой бабенки два брата на юге, мы б сколько сведений из нее вытянули. А от попа какая корысть? Молебны его да тропари никому не нужны, рвет с них. В общем, держу тебя до первого замечания.

Алексей до сего дня, конечно, встречался с отцом Панкратием на городских улицах, сойтись же лицом к лицу им пока не доводилось, и сейчас, поглядывая на него, вошедшего в кабинет, и готовясь начать допрос, Алексей, как и многие люди, оказавшиеся вблизи священника, невольно подивился той необъятно-могучей, богатырской стати, какой одарила его природа. На лицах многих людей, очутившихся в губчека, появлялось выражение виноватой пришибленности, на лице же отца Панкратия и здесь, даже после недавней схватки, сохранялся отпечаток величавого, уверенного в себе достоинства.

— Садись, — сказал Алексей.

— Постой, мы люди простые.

— Исполняй, что приказано. Не на базаре.

Отец Панкратий сел на табуретку возле кафельной, жарко натопленной голландки, приложил руку к затылку, глянул на ладонь и качнул головой.

Алексей, не спускавший с него глаз, подошел к нему, нагнул голову, раздвинул пальцем исседа-русые пряди: на затылке кровоточила ссадина от вырванного клока волос.

— Фельдшерицу ко мне, — приказал он, приоткрыв дверь кабинета.

Зина, фельдшерица в губчека, была духовной дочерью отца Панкратия. Ходить открыто в церковь ей было нельзя, она исповедовалась и причащалась на дому священника. Увидев батюшку у Блеханова, она чуть не упала в обморок, но совладала с собой. Все же, обрабатывая ссадину, она так волновалась, что пролила половину пузырька с йодом за шиворот отцу Панкратию. Холодящая струйка ниточкой протекла меж лопаток, засела в штыковой ранке.

— Ответь мне, гражданин Примагентов, — сказал председатель, когда фельдшерица вышла. — Как ты относишься к советской власти?

— Власть она и есть власть. Без нее никуда, — ответил священник.

— Почему ж не сполняешь требований ее представителей?

— В алтарь, святое место, с сигаркой да в шапке входить не положено.

— Для тебя — святое место, для власти — обыкновенное помещение. Так. А кто тебе дал право речи на улице перед народом говорить? Ты у кого разрешения на это испросил?

— Да что же это, — возразил отец Панкратий, — без спроса теперь и не пикни?

Председатель, не ответив, поднялся, потрогал револьвер на столе, оперся кулаками на зеленое, вытертое сукно столешницы.

Священник почувал: настала важная минута, однако вставать не стал.

— За сопротивление власти, выразившееся в недопущении ее законных представителей в алтарь культового здания, а также контрреволюционную пропаганду, — чеканил слова председатель, — губернская чрезвычайная комиссия приговаривает гражданина Примагентова к расстрелу!

Алексей дакнул кнопку звонка. В кабинет ворвались два чекиста с револьверами, подхватили священника под руки. Он поднялся с табуретки, пошел, но у дверей, словно очнувшись, сказал:

— Гражданин начальник, да ведь у нас завтра престольный праздник. Всенощную-то кто сегодня править будет, я ж в церкви-то один?

— В подвале справишь, — ответил председатель. — Там и со святыми упокой запоешь. Ведите его.

— Гражданин начальник, — прижав локтями к косякам дверей своих конвоиров, воззвал отец Панкратий. — Отпусти, ради Христа! Завтра после обедни сам приду, хошь на куски меня мелкие режьте. Молиться за вас буду.

— Ведите ж его! — ударил кулаком по столу Алексей.

Глава восьмая

ВО УЗИЛИЩЕ СМРАДНОМ

Когда губчека заняла здание реального училища, помещения подвала приспособили под камеры — убрали лишние перегородки, заложили имевшиеся окна, двери оковали железом, снабдили их глазками и засовами. В одной камере находились временно задержанные, которых по выяснении обстоятельств или отпускали восвояси, или водворяли во вторую камеру, где содержались приговоренные к расстрелу. Расстрелы производились в третьей, самой большой камере, в дальнем конце коридора. Эта коридорно-камерная система в документах именовалась внутренней тюрьмой губчека.

Чекисты с такой остервенелой поспешностью влекли священника по коридору, а потом стремглав по главной лестнице на первый этаж и мимо дежурного по винтовой лестнице в подвал, что отец Панкратий подумал: «Убивать ведут» — и на бегу стал читать себе отходную молитву. И только оказавшись в камере, когда за его спиной длинно шаркнул засов и загредел запираемый замок, он понял, что еще поживет.

Священник с облегчением перекрестился, переводя дух, осмотрел катажку: промозглую, без окон комнату, с тусклой лампочкой над дверью. Только здесь, у порога, было светло. Здесь же воняло нужником — у двери в углу стояла “параша”, кадка с крышкой. В сумраке камера показалась очень большой, несоразмерной даже со зданием чека, но глаза присмотрелись, и во тьме решетчато зачернели нары. На них кто-то был, из тьмы, как два серо-призрачных пятна, вытянули чьи-то лица.

— Мир вам, люди добрые, — в полупоклоне приветствовал их священник.

— Батюшка! — был ему ответом истошный вопль, и двое человек, мужчина и женщина, бросились к нему под благословение. Отец Панкратий умилился: целуя благословившую их руку, они омочили ее слезами.

— Помолитесь, батюшка, за нас, безвинно страдаем, бес попутал, — всхлипывала женщина, не отпуская руку.

— Помолись, батюшка, помолись, — сипло вторил мужчина.

— Господь вас простит, дорогие мои. Молитесь Господу. Он утешит, укрепит, пошлет ангела-хранителя, как послал в темницу апостолу Павлу.

На двери камеры загрел засов, скрежетнул замок. Новые знакомцы священника отпрянули от него, полезли на нары, забились в дальний угол.

— Эй, мясники, выходите, — позвал их отперевший камеру часовой.

— Нет, нет, — завывали с нар.

— Не бойтесь, на допрос.

Опрометью, отталкивая друг друга, мужчина и женщина побежали к дверям.

Отец Панкратий остался один.

Происшествие в церкви хотя и взволновало его, но в душе он готовился к чему-то подобному, ждал. Такие комиссии прошли уже по многим городским церквям. Кой-где священники пострадали, приняв мученический венец, а в иных храмах все обошлось благополучно. В Покровскую на Торгу церковь пожаловали после службы, все чинно, благородно переписали и с миром удалились. Но отца Георгия из Вознесенской церкви прямо у престола испыряли штыками, а отца Иннокентия из Никольской — вздумать жутко — епитрахилью удавили. Что творится! А его вот сюда привели. Что ж, будь что будет, как Господу угодно, а он свой долг исполнил. В душе отложилась только горечь, что ненароком ушиб человека да сцепился, как зверь необузданный, со служителями безбожной чеки. Но не отдавать же им крест на поругание. С мертвого пусть снимают.

Думы о завтрашней службе (кто ж ее вести-то будет!), горестные раздумья о семье, о матушке Платониде с детьми обступили его. Как же они без него, бедные, жить будут? Зиму перезимовали с Божией помощью, но до тепла, до первых овощей еще далековато. Голодовать еще и голодовать.

Отец Панкратий с сожалением вспомнил об оставшихся в кошёлке шкалике постного масла и полфунте перловки, что поднесли ему сегодня доброты-прихожане. Передадут ли кошёлку матушке, ведь нынче каждый сухарь, каждая крупинка в цене.

Засов камерной двери заработал снова. В камеру, доставая до нар, упал косой лоскут света из коридора, и в женской фигуре на пороге отец Панкратий узнавал и не узнавал Зину-фельдшерницу.

— Зинаида Степановна?.. — с заминкой, в которой было желание ошибиться, спросил он.

— Да, батюшка, — грустно подтвердила Зина, садясь на нары рядом.

— Как же так? — развел руками отец Панкратий. — Вас-то, женщину, за что?

Зина работала в губчека ради больной матери: зарплата тут хорошая, твердая, и главное — паек. Насмотревшись в кабинете председателя на избитых, доведенных до обморока, до нервного припадка людей, она давно пыталась уйти отсюда, но не хватало мужества. Но, увидев арестованного, пораненного отца Панкратия, дорогого батюшку, сдерживавшие преграды — благоразумия, осторожности — рухнули. Она выплакалась у себя в медицинском уголке, помолилась на образок Божией Матери Владимирской, что носила с нательным крестом, пошла и заявила Блеханову, что отказывается служить в губчека. Председатель возмутился: это почему же? “Потому что вся губчека, от крыши до подвала, забрызгана кровью, и меня мутит от этого”.

— И теперь я здесь, — покусывая губы, чтоб не заплакать, сказала Зина.

Отец Панкратий бухнулся на колени перед ней.

— Зинаида Степановна, — со слезами в горле говорил он, — прости, коли в чем согрешил пред тобою. Прости, ежели чем досадил, опечалил. Из-за меня, скверного, страждешь и муки лютые приемлешь...

— Вставайте, батюшка, вставайте, — заплакала Зина, теребила отца Панкратья за плечо.

Священник склонился, чтоб коснуться лбом пола, и отшатнулся — в лицо емушибануло удупливым запахом мочи, словно пол был пропитан ею.

— И вы меня, батюшка, простите, — когда священник поднялся, сказала Зина, падая на колени.

— Господь простит, — подхватывая ее с гадкого пола, сказал отец Панкратий.

Глава девятая

ПОЮ БОГУ МОЕМУ ДОНДЕЖЕ ЕСМЬ...

Еще не раз и не два возгремел замок, отворилась массивная дверь, и в камеру зашли, были толкнуты, затащены под руки многие разные люди. Три молодых человека — вероятно, офицеры; затем пара — должно быть, муж с женой, несколько человек порознь — один крестьянского склада, двое с виду мастеровых.

Люди заходили в камеру молча, брели к нарам или подолгу стояли у двери, переживая всю глубину совершившегося несчастья. Иногда сразу же, еще двигался, отрезая все надежды, засов, человек кидался к двери, колотил кулаками, умоляя выпустить его, разобраться, он же ни в чем, ни в чем не виноват. Подчас кто-нибудь срывался с нар, жадно, захлебываясь, кричал в глазок, что хочет сделать важное сообщение.

— Чего, говори, — подходил к двери часовой.

— Скажу одному председателю губчека, — вопил контрреволюционер, виновный лишь в том, что у него при обыске нашли нагрудный знак члена "Союза русского народа", владельцы таких значков подлежали безоговорочному расстрелу. Часовой отходил от двери: неосновательных заявителей, отделивающих общими словами, к председателю было велено не приводить.

Люди испокон века живут в сознании грядущей, неминуемой смерти. Кто ощущает это сильно, кто слабей, но нет ни одного человека, который хотя бы однажды не задумался об этом. А задумавшись, не встретился бы с тайной. Действительно, по мудрому устроению Господню, никто из людей не знает дня своей кончины. Это не случайно. А здесь, в камере, покров с тайны был сорван. И если причастность к тайне возвышает человека, то ее отсутствие одинаково унижало всех, все делались равны в унижении.

Отец Панкратий подумал, что в проповеди эту мысль можно было развить пространней и глубже, задержаться, в частности, на том, что грех самоубийства тем и непростителен, что человек самочинно посягает на Божественную тайну.

Однако время проповедей прошло. С каждой минутой жизнь уходила, как вода меж пальцев. Никогда уж он не увидит Лазаревский храм, не поклонится могиле приснопамятного отца Владимира, не произнесет в храме проповедь. Никогда не пройдет по милым сердцу городским улицам, мимо здания семинарии, где было прожито столько счастливых, радостно-духовных, а порой и горько-постыдных дней (грехи юности и по прошествии долгих лет жгли сердце). Никогда больше не увидит он дорогую матушку Платониду, не обнимет детей.

Скорбь по уходящей жизни, а пуще всего неодолимая жалость к матушке и сиротеющим детям — могли бы свести с ума. Спасала молитва. С той минуты, как он переступил порог камеры, отец Панкратий неустанно творил благодатное: "Господи, помилуй!". В редкие минуты, когда он оставался один, он шептал ее явно, устами, и повторял мысленно, когда разговаривал с кем-то, утешал, исповедывал. Народу в камеру натолкали

много, люди все незнакомые, чужие. И хотя у всех было одинаковое горе, но тоскующая человеческая душа жаждала слова сострадания и поддержки. Он, священник, оказался для всех тем общим человеком, к которому легче было подойти за словом утешения. Легче такое слово принималось и от него, когда он подходил к человеку сам.

А непрерывно звучащее в сердце "Господи, помилуй!" утишало скорбь, отгоняло тоску. И чем непрестанней длилась молитва, тем ощутимей пробуждалось в душе чувство неведомой свободы. Как упругая иголочка весенней травы, проколов слой перезимовавшей, гнилой листвы, тянется к свету, так и душа, словно пробив какую-то корку, рвалась к новой, иной жизни. Это было удивительно, но именно здесь — под замком и охраной, в вонючем холодном подвале, орошенном слезами, слышавшем стенания и проклятия несосчитанных жертв, он чувствовал себя более свободным, чем там, на воле. Если не считать не утихавшей, жалостной тоски по матушке и детям, во всем остальном он был совершенно свободен. Все служебные, родственные, соседские связи отпали, он ни от кого не зависел, никому не подчинялся, ни перед кем не был ответственен. Только перед совестью, перед Богом.

В камере все молчали. Такие мертвенные, провальные паузы возникали все чаще. Казалось, даже время застывало в этот миг, но оно неумолимо шло, его нельзя было ничем ни замедлить, ни остановить.

Где-то наверху кто-то глухо ударил в блюдо: блюм-м, блюм-м. Почти сразу все догадались: то звонят ко всенощной на церкви Афанасия Александрийского, что неподалеку от губчека. Звон проникал под землю, просачивался дальним зовущим стоном.

Отца Панкратия кто-то позвал. Он повернулся на голос и увидел, что потолочный угол камеры возле дверей заняла область равномерно дрожащего, струистого света. В камере не стало светлей, никто не шевельнулся вместе с ним, и священник понял, что удостоился духовного видения. В этом дивном, непохожем на солнечный, свете находился юноша с волнистыми, ниспадающими на плечи кудрями. В руках он держал связку венков, какие обычно плетут летом девочки. Свив невинными, чистыми пальчиками тугой ободок из стебелстых ромашек, они вплетают в него фиолетовый огонек полевой гвоздички, и золотистую звездочку зверобоя, и лиловый погромек душистой фиалки. "Так вот они какие, мученические венцы", — подумал отец Панкратий. А он представлял их золотыми, украшенными в драгоценные камни, как царские короны...

— Пасха скоро. Семь дней осталось, — с болью и горькой укоризной сказал кто-то рядом.

— Нам уж ее не праздновать, — послышался тяжелый вздох.

— Там отпразднуем! — указуя рукой вверх, сказал отец Панкратий, поднялся с нар. — Ну, братья и сестры, делу — время, молитве — час. Вы как хотите, а я буду всенощное бдение править.

— Батюшка, — сказал чей-то боязливый голос, а из-под боязни сквозила радость, — да разве тут можно?

— Не злите вы их, здесь же не церковь, — проскулил кто-то внизу.

— Вся земля — храм Божий, — сказал священник.

— Батюшка, — попросила Зина, — благословите псаломщицей быть. Вам одному трудно.

— Службу хорошо знаете, не собьетесь?

— Не собьюсь. Давно я мечтала, там не довелось, так хоть здесь, перед смертью.

— Не поможет нам, святой отец, ваша служба, — сказал один из троих молодых людей. — Разве только время быстрее пройдет.

— Кто-нибудь еще хочет что-то сказать? — спросил священник, прикидывая: куда обратиться лицом, где восток. По его расчетам стоять нужно к двери правым боком. — Кто не хочет молиться, прошу не мешать нам.

Отец Панкратий снял с себя зимнюю, теплую, добротню наваченную рясу, положил ее на нары, поправил крест на груди, откашлялся и произнес:

— Восстаньте, вернии!

На этот возглас позади его стали: Зина, супружеская пара, один из молодых людей (товарищи его присоединились к нему). Люди вставали и вставали. Мельком оглянувшись, священник увидел, что почти вся камера стояла за ним, в промежутках между нарами и ближе к двери.

— Как древние христиане в катакомбах, — шепнул один офицер другому.

— Вполголоса, не громко, — предупреждал отец Панкратий, поднял руку ко лбу и, осеняя себя знамением победы жизни над смертью, возгласил:

— Слава Святей, Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.

— А-аминь, — нестройно подпели в первый и последний раз в жизни собравшиеся вместе певчие.

Глава десятая

И В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ...

Отец Панкратий мог никого не предупреждать — в коридоре перед камерами сейчас не было ни души. Часового позвал в караулку играть в карты комендант внутренней тюрьмы — Антон Пастухов, бывший проштрафившийся председатель губчека, помилованный Гедровым. Играли в подкидного, на “носы”, для второй пары не хватало человека. Осужденные из камеры, запиравшейся засовом и замком, никуда выйти не могли, а если б каким-то чудом и вышли, то коридор тюрьмы от караулки отделялся еще одной дверью.

Карты были новенькие, изъятые недавно при обыске в одном буржуйском доме, такими поиграть приятно. Тасуешь, сами в руках шевелятся. И уж коли такими картишками по носу от души, с отяжкой врежешь — искры из глаз.

Первую игру Антон с напарником проиграл и сейчас, зажмурившись, получал положенные удары. Как бывшее начальство, его жалели, били вполсилы: выслужился ведь проныра Антон уже в коменданты, а ну подфартит и опять председателем станет.

На винтовой лестнице слышались шаги. В караулку шел сменившийся дежурный — Гаврила Смирнов, принимавший днем отца Панкратия.

Гаврила подсел к Антону, заглядывая ему в карты.

— Как, брат лихой, живем-можем? — спросил он.

— Помале-е-еньку живем, — думая, как сходить, пропел Антон, ткнул Гаврилу локтем в бок. — Расскажи-ко, как с попом-то вы воевали, уделать его не могли.

— Чего не могли? — Гаврила почесал в затылке. — Леха не сунулся бы, изломали б ему машину.

— Куда вам, — поддразнивал Антон, — силищи-то у него.

— Ну да, мерин здоровый. Четверых ведь нас на себе поднял. Дай, Антоша, ключа, гляну на него напоследок, все же видный мужчина.

— Только недолго. — Антон подал приятелю связку ключей, вскинул над головой козырную карту. — Кто имеет двух бубен, не бывает...

Гаврила на цыпочках подкрался к камере, отвел пальцем завешивавшийся глазок, железный кругляш. В тусклом сумраке камеры слитной серой массой стояли люди. Поп возвышался над ними темным столбом. Где-то рядом у двери торопко лилась невнятная пономарская частоговорка, словно в камере кто-то читал женским голосом псалмы. “Боже, Боже мой, к тебе утреннюю”, — машинально повторил за чтецом Гаврила, сплонул и насторожился. А голос вскоре начал: “Господи Боже спасения моего, во дни воззвах, и в нощи пред Тобою...”

Сомнений не могло быть — в камере читали шестопсалмие, там шла служба. “Вот это номер!” Гаврила выждал еще малость, чтоб окончательно удостовериться в истинности своей догадки, и также крадучись отошел от камеры.

“Ну, по-о-оп! Такого в чека еще не бывало. А что будет Антохе-псу, если Блеханов узнает об этом! Натянет он Антошу как надо”.

Гаврила давно имел зуб на Антона. Когда тот еще председательствовал, они однажды круто разлаялись из-за посеребренных шпор одного хлопнутого офицеришки.

— Ты чего, заснул там? — принимая ключи у Гаврилы, проворчал Антон, сдавая карты.

— Все запер, запер, — невпопад ответил Гаврила, спеша к винтовой лестнице.

Антон подозрительно посмотрел ему вслед, однако, охваченный азартом, сыграл еще двух “дураков”.

А Гаврила, поднявшись наверх, облокотился на барьер в дежурке, яростно думая (аж голова горячая стала!), как сделать, чтобы Блеханов узнал о службе в камере. Пойти на прямой донос было как-то боязно, а пустить сообщение окольным путем — потеряешь время.

Но тут со второго этажа ступил на парадную лестницу и, скользя рукой по перилам, пошел вниз начальник оперотдела Петр Лукич Задман.

— Ну, Ванька, — нарочито громко сказал Гаврила новому дежурному, — знал бы ты, что на белом свете дается. В камере поп Панкрат советской власти анафему поет, а наш Антон, едрена корень, и в ус не дует.

Круглое Ванькино лицо от изумления округлилось еще сильнее, но выражение глупой, конопатой Ванькиной физиономии мало интересовало Гаврилу — тот, кому предназначались слова, услышал их.

— Какую анафему? — спросил Задман.

— А вы сходите, послушайте, Петр Лукич, — умирал от радости Гаврила.

— Нехорошо радоваться промаху сослуживца, — назидательно заметил Задман. — Это подло.

На винтовой лестнице послышался бешеный топот, в вестибюль с выпученными глазами, с окровавленным лицом выбежал Антон. Вырвавшись из руки схватившего его Петра Лукича, размазывая кровь по лицу, он вихрем помчался на второй этаж.

— Оружие у них там! — орал он во весь голос.

Растворялись в былое время царские врата в Лазаревской церкви, из алтаря шествовал в храм отец настоятель Панкратий Примагентов в сонме сослужащих ему иереев, певчие на хорах воспевали умильные тропари “Ангельский собор удивися...”, храм насыщался светом свеч в паникадилах, перед образами мигали и дрожали глазки лампад, трепет и волнение растекались по храму, и еще строже смотрел с потолочной росписи Господь с младенческой душой Богородицы на руках.

Наступил этот торжественный, радостный миг и в подвале губчека, и хоть не было ни многосвечных паникадил, ни душистого кадильного фимиама, ни лампад, ни стройного пения вышколенного регентом хора, но в сердцах молящихся свет разгорался все ярче.

В это время Антону стало невозможно размышлять о странном поведении Гаврилы, о его бегающем взгляде, о той суетливости, с какой он заторопился наверх. Антон швырнул карты и пошел взглянуть, что же такое Гаврила увидел в камере.

“Ах, подлюги!” — свирепая от злобы, подумал он, услышав пение.

Ключ никак не попадал в скважину замка.

— Молчать! Перебью как собак, — прорычал он, распахнув настежь дверь.

Люди, напуганные его появлением, умолкли. Слышался только голос отца Панкратия и Зины. Но сразу же, подстраиваясь, прикрепляясь к их голосам, люди возобновили пение.

— Молчать! — заверещал Антон, ринулся в камеру, расстегивая кобуру. Но только револьвер привычно вылетел из кобуры, как сокрушительный удар по зубам посадил Антона на зад. Револьвер завертелся по полу камеры.

Антон вертко перевернулся на четвереньки, вскочил, кинулся вон, захлопнул за собой дверь и, запирая замок, обдумал две мгновенные мысли: управиться своими силами (часовые побьют их из винтовок), или лучше сообщить начальству?

А в камере отец Панкратий потребовал у офицера, разделавшегося с Антоном, спустить револьвер в поганую кадку у двери, после чего сказал:

— Мир всем! — и, став ближе к лампочке, начал читать Евангелие под Лазареву субботу.

Не дослушав до конца суматошный рассказ Антона, Алексей Блеханов, побледнев, метнулся к заглубленному в стене шкафу, где в соседнем с чайником и чашкой с голубками отделении наготове стоял тяжелый и толстый, как самоварная труба, ручной пулемет "Льюис".

Дочитав Евангелие, отец Панкратий осенил им паству и, словно предчувствуя, что истекают последние минуты его земной жизни, что уже мчит к камере, грохоча коваными сапогами, крошечное чекистское воинство во главе с одержимым его председателем, грянул своим знаменитым на всю епархию, широким, будто полноводная весенняя река, басом:

— Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу...

— Отпирай, раззява! — став у камерной двери, прилаживая к пулемету каравай патронного диска, взревел председатель.

Повернулся ключ, захрипел засов. В коридор вытекла мощная, густая волна:

— ...даде нам живот ве-е-е-ечный...

И только отошло чуть в сторону полотно двери, Блеханов вогнал в гущу людских тел протяжную пулеметную очередь.

Последнее, что увидел Алексей — был обернувшийся к нему отец Панкратий и его лучащиеся, пылающие необыкновенным светом в черноте подвала глаза.

ЭПИЛОГ

По-разному сложилась дальнейшая жизнь героев этой небольшой повести. Город N существует и до сего дня. Правда, от некогда старинного русского города осталось только название: он перестроен и исковеркан до неузнаваемости. История с попом, расстрелянным во время совершения службы во внутренней тюрьме губчека, дошла до самого товарища Гедрова. После этого Алексей, Петр Лукич и Антон круто пошли в гору. Однако ни они, ни сам Гедров не пережили тридцатые годы. Сквозь все испытания благополучно прошел лишь один подловатый Гаврила.

В бывшем здании ЧК ныне размещается институт. По его лестницам и коридорам ходят молодые веселые студенты и студентки, не догадывающиеся, кого водили по этим коридорам и лестницам почти восемьдесят лет назад. В стенах камеры, где приняли смерть отец Панкратий и его паства, пробили окна, приспособив ее под лабораторию сопротивления материалов.

А в Лазаревской церкви, которую на другой день после преставления отца Панкратия закрыли, вот уже более тридцати лет снова идут службы. В храме горят лампады и свечи, курится ладанный дым. В Великий пост под Лазареву субботу священник читает в алтаре Евангелие, и мнится порой убогим старушкам, что не священник, а Сам Господь глаголет вечные, нетленные словеса:

— Аз есмь воскресение и живот: веруяй в Мя, аще и умрет — оживет. (Евангелие от Иоанна, 11.25)

